

## ИЗ «ШКОЛЬНОЙ АНТОЛОГИИ» (1966—1969)

### 1. Э. Ларионова

Э. Ларионова. Брюнетка. Дочь полковника и машинистки. Взглядом она напоминала циферблат. Она стремилась каждому помочь. Однажды мы лежали рядом на пляже и крошили шоколад. Она сказала, поглядев вперед, туда, где яхты не меняли галса, что если я хочу, то я могу. Она любила целоваться. Рот напоминал мне о пещерах Карса, но я не испугался.

Берегу

воспоминанье это, как трофей,  
уж на каком-то непонятном фронте  
отбитый у неведомых врагов.  
Любитель сдобных баб, запечный котофей,  
Д. Куликов возник на горизонте:  
на ней женился Дима Куликов.  
Она пошла работать в женский хор,  
а он трубит на номерном заводе.  
Он — этакий костистый инженер...  
А я все помню длинный коридор  
и нашу свалку с нею на комодке.  
И Дима — некрасивый пионер...

Куда все делось? Где ориентир?  
И как сегодня обнаружить то, чем  
их ипостаси преобразены?  
В ее глазах таился странный мир,  
еще самой ей непонятный. Впрочем,  
не понятый и в качестве жены.  
Жив Куликов. Я жив. Она жива.  
А этот мир — куда он подевался?  
А может, он их будит по ночам?..  
И я все бормочу свои слова.  
Из-за стены несутся ключья вальса,  
и дождь шумит по битым кирпичам...

## 2. О. Поддобрый

Олег Поддобрый. У него отец  
был тренером по фехтованию. Твердо  
он знал все это: выпады, укол.  
Он не был пожирателем сердец,  
но, как это бывает в мире спорта,  
он из офсайда забивал свой гол.  
Офсайд был ночью. Мать была больна,  
а младший брат вопил из колыбели.  
Олег вооружился топором.  
Вошел отец, и началась война.  
Но вовремя соседи подросли  
и сына одолели вчетвером.

Я помню его руки и лицо.  
Потом — рапиру с ручкой деревянной:  
мы фехтовали в кухне иногда.  
Он раздобыл поддельное кольцо,  
плескался в нашей коммунальной ванной...  
Мы бросили с ним школу, и тогда  
он поступил на курсы поваров,  
а я фрезеровал на «Арсенале».  
Он пек блины в Таврическом саду.  
Мы развлекались переноской дров  
и продавали елки на вокзале  
под Новый Год.

Потом он, на беду,  
в компании с какой-то шантрапой  
взял магазин и получил три года.  
Он жарил свою пайку на костре.  
Освободился. Пережил запой.  
Работал на строительстве завода.  
Был, кажется, женат на медсестре.  
Стал рисовать. И будто бы хотел  
учиться на художника. Местами  
его пейзажи походили на —  
на натюрморт. Потом он залетел  
за фокусы с больничными листами.  
И вот теперь — настала тишина.

Я много лет его не вижу. Сам сидел в тюрьме, но там его не встретил. Теперь я на свободе. Но и тут нигде его не вижу.

По лесам он где-то бродит и вдыхает ветер. Ни кухня, ни тюрьма, ни институт не приняли его, и он исчез. Как Дед Мороз. Успев переодеться. Надеюсь, что он жив и невредим. И вот он возбуждает интерес, как остальные персонажи детства. Но больше, чем они, невозвратим.

### 3. Т. Зими́на

Т. Зими́на, прелестное дитя.  
Мать — инженер, а батюшка — учетчик.  
Я, впрочем, их не видел никогда.  
Была невпечатлительна. Хотя —  
на ней женился пограничный летчик.  
Но это было позже, а беда  
с ней раньше приключилась. У нее  
был родственник. Какой-то из райкома.  
С машиною. А предки жили врозь.  
У них там было, видимо, свое.  
Машина — это было незнакомо.  
Ну, с этого там все и началось.  
Она переживала. Но потом  
дела пошли как будто на поправку.  
Вдали маячил сумрачный грузин.  
Но вдруг он угодил в казенный дом.  
Она же — отдала себя прилавку  
в большой галантерейный магазин.  
Белье, одеколоны, полотно  
— ей нравилась вся эта атмосфера,  
секреты и поклонники подруг.  
Прохожие таращатся в окно.  
Вдали — Дом Офицеров. Офицеры,  
как птицы, с массой пуговиц, вокруг.

Тот летчик, возвратившись из небес,  
приветствовал ее за миловидность.  
Он сделал из шампанского салют.  
Замужество. Однако в ВВС  
ужасно уважается невинность,  
возводится в какой-то абсолю́т.  
И этот род схоластики виной  
тому, что она чуть не утопилась.  
Нашла уж мост, но грянула зима.  
Канал покрылся коркой ледяной.  
И вновь она к прилавку торопилась.  
Ресницы опушила бахрома.

На пепельные волосы струит  
сияние неоновая люстра.  
Весна — и у распахнутых дверей  
поток из покупателей бурлит.  
Она стоит и в сумрачное русло  
глядит из-за белья, как Лорелей.

#### 4. Ю. Сандул

Ю. Сандул. Добродушие хорька.  
Мордашка, заострявшаяся к носу.  
Наушничал. Всегда — воротничок.  
Испытывал восторг от козырька.  
Витийствовал в уборной по вопросу,  
прикалывать ли к кителю значок.  
Прикалывал. Испытывал восторг  
вообще от всяких символов и знаков.  
Чтил титулы и звания, до слез.  
Любил именовать себя «физорг».  
Но был старообразен, как Иаков,  
считал своим бичом фурункулез.  
Подвержен был воздействию простуд,  
отсиживался дома в непогоду.  
Дрочил таблицы Брадиса. Тоска.  
Знал химию и рвался в институт.  
Но после школы загремел в пехоту,  
в секретные подземные войска.

Теперь он что-то сверлит. Говорят,  
на «Дизеле». Возможно, и неточно.  
Но точность тут, пожалуй, ни к чему.  
Конечно, специальность и разряд.  
Но, главное, он учится заочно.  
И здесь мы приподнимем бахрому.  
Он в сумерках листает «Сопромат»  
и впитывает Маркса. Между прочим,  
такие книги вечером как раз  
особый источают аромат.  
Не хочется считать себя рабочим.  
Охота, в общем, в следующий класс.

Он в сумерках стремится к рубежам  
иным. Сопротивление металла  
в теории приятнее. О да!  
Он рвется в инженеры, к чертежам.  
Он станет им во что бы то ни стало.  
Ну, как это... количество труда,

прибавочная стоимость... прогресс...  
И вся эта схоластика о рынке...  
Он лезет сквозь дремучие леса.  
Женился бы. Но времени в обрез.  
И он предпочитает вечеринки,  
случайные знакомства, адреса.

«Наш будущий — улыбка — инженер».  
Он вспоминает сумрачную массу  
и смотрит мимо девушек в окно.  
Он одинок на собственный манер.  
Он изменяет собственному классу.  
Быть может, перебарщиваю. Но  
использование класса напрокат  
опаснее мужского вероломства.  
— Грех молодости. Кровь, мол, горяча. —  
Я помню даже искренний плакат  
по поводу случайного знакомства.  
Но нет ни диспансера, ни врача  
от этих деклассированных, чтоб  
себя предохранить от воспаления.  
А если нам эпоха не жена,  
то чтоб не передать такой микроб  
из этого — в другое поколение.  
Такая эстафета не нужна.

## 5. А. Чегодаев

А. Чегодаев, коротышка, врун.  
Язык, к очкам подвешенный. Grimаса  
сомнения. Мыслитель. Обожал  
касаться самых задушевных струн  
в сердцах преподавателей — вне класса.  
Чем покупал. Искал и обнажал  
пороки наши с помощью стенной  
с фрейдистским сладострастием (границу  
меж собственным и общим не провести).  
Родители, блистая сединой,  
доили знаменитую таблицу.  
Муж дочери создателя и тесть  
в гостиной красовались на стене  
и взапуски курировали детство  
то бачками, то патлами брады.  
Шли дни, и мальчик впитывал вполне  
полярное величье, чье соседство  
в итоге принесло свои плоды.

Но странные. А впрочем, борода  
верх одержала (бледный исцелитель  
курсисток русских отступил во тьму):  
им овладела раз и навсегда  
романтика больших газетных литер.  
Он подал в Исторический. Ему  
не повезло. Он спасся от сетей,  
расставленных везде военкоматом,  
забился в угол. И в его мозгу  
замельтешила масса областей  
познания: Бионика и Атом,  
проблемы Астрофизики. В кругу  
своих друзей, таких же мудрецов,  
он размышлял о каждом варианте:  
какой из них эффектнее с лица.  
Он подал в Горный. Но в конце концов  
нырнул в Автодорожный, и в дисканте  
внезапно зазвучала хрипотца:  
«Дороги есть основа... Такова

их роль в цивилизации... Не боги,  
а люди их... Нам следует расти...»  
Слов больше, чем предметов, и слова  
найдутся для всего. И для дороги.  
И он спешил их все произнести.  
Один, при росте в метр шестьдесят,  
без личной жизни, в сутолоке парной  
чем мог бы он внимание привлечь?  
Он дал обет, предания гласят,  
безбрачия — на всякий, на пожарный.  
Однако покровительница встреч  
Венера поджидала за углом  
в своей миниатюрной ипостаси —  
звезда, не отличающая ночь  
от полудня. Женитьба и диплом.  
Распределение. В очереди к кассе  
объявлять новых родственников: дочь!

Бескрайние таджикские холмы.  
Машины роют землю. Чегодаев  
рукой с неповзрослевшего лица  
стирает пот оттенка сулемы,  
честит каких-то смуглых негодяев.  
Слова ушли. Проникнуть до конца  
в их сущность он — и выбраться по ту  
их сторону — не смог. Застрял по эту.  
Шоссе ушло в коричневую мглу  
обоими концами. Весь в поту,  
он бродит ночью голый по паркету  
не в собственной квартире, а в углу  
большой земли, которая — кругла,  
с неясной мыслью о зеленых листьях.  
Жена храпит... о Господи, хоть плачь...  
Идет к столу и, свесясь из угла,  
скрипя в душе и хорохорясь в письмах,  
ткет паутину. Одинокий ткач.

## 6. Ж. Анциферова

Анциферова. Жанна. Сложена  
была на диво. В рубенсовском вкусе.  
В фамилии и имени всегда  
скрывалась офицерская жена.  
Курсант-подводник оказался в курсе  
голландской школы живописи.

Да  
простит мне Бог, но все-таки как вещь  
бывает голос пионерской речи!  
А так мы выражали свой восторг:  
«Берешь все это в руки, маешь вещь!»  
и «Эти ноги на мои бы плечи!»  
...Теперь вокруг нее — Владивосток,

сырые сопки, бухты, облака.  
Медведица, глядящаяся в спальню,  
и пихта, заменяющая ель.  
Одна шестая вправду велика.  
Ложась в постель, как циркуль в готовальню,  
она глядит на флотскую шинель,  
и пуговицы, блещущие в ряд,  
напоминают фонари квартала  
и детство и, мгновение спустя,  
огромный, черный, мокрый Ленинград,  
откуда прямо с выпускного бала  
перешагнула на корабль шутя.

Счастливица? Да. Кройка и шитье.  
Работа в клубе. Рейды по горящим  
осенним сопкам. Стирка дотемна.  
Да и воспоминанья у нее  
сливаются все больше с настоящим:  
из двадцати восьми своих она  
двенадцать лет живет уже вдали  
от всех объектов памяти, при муже.  
Подлодка выплывает из пучин.  
Поселок спит. И на краю земли

дверь хлопает. И делается уже  
от следствий расстояние причин.

Бомбардировщик стонет в облаках.  
Хорал лягушек рвется из канавы.  
Позванивает горка хрусталя  
во время каждой стойки на руках.  
И музыка струится с Окинавы,  
журнала мод страницы шевеля.

## 7. А. Фролов

Альберт Фролов, любитель тишины.  
Мать штемпелем стучала по конвертам  
на почте. Что касается отца,  
он пал за независимость чухны,  
успев продлить фамилию Альбертом,  
но не выдав Альбертова лица.

Сын гений свой воспитывал в тиши.  
Я помню эту шишку на макушке:  
он сполз на зоологии под стол,  
не выяснив отсутствия души  
в совместно распатроненной лягушке.  
Что позже обеспечило простор

полету его мыслей, каковым  
он предавался вплоть до института,  
где он вступил с архангелом в борьбу.  
И вот, как согрешивший херувим,  
он пал на землю с облака. И тут-то  
он обнаружил под рукой трубу.

Звук — форма продолженья тишины,  
подобье развевающейся ленты.  
Солируя, он скашивал зрачки  
на раструб, где мерцали, зажжены  
софитами, — пока аплодисменты  
их там не задували — светлячки.

Но то бывало вечером, а днем —  
днем звезд не видно. Даже из колодца.  
Жена ушла, не выстирав носки.  
Старуха-мать заботилась о нем.  
Он начал пить, впоследствии — колоться  
черт знает чем. Наверное, с тоски,

с отчаянья — но дьявол разберет.  
Я в этом, к сожалению, не сведущ.

Есть и другая, кажется, шкала:  
когда играешь, видишь наперед  
на восемь тактов — ампулы ж, как светоч,  
шестнадцать озаряли... Зеркала

дворцов культуры, где его состав  
играл, вбирали хмуρο и учтиво  
черты, экземой траченные. Но  
потом, перевоспитывать устав,  
его за разложение коллектива  
уволили. И, выдавив: «говно!»,

он, словно затухающее «ля»,  
не сделав из дальнейшего маршрута  
досужих достояния очес,  
как строчка, что влезает на поля,  
вернее — доведя до абсолюта  
идею увольнения, исчез.



Второго января, в глухую ночь,  
мой теплоход ошвартовался в Сочи.  
Хотелось пить. Я двинул наугад  
по переулкам, уводившим прочь  
от порта к центру, и в разгаре ночи  
набрел на ресторацию «Каскад».

Шел Новый Год. Поддельная хвоя  
свисала с пальм. Вдоль столиков кружился  
грузинский сброд, поющий «Тбилисо».  
Везде есть жизнь, и тут была своя.  
Услышав соло, я насторожился  
и поднял над бутылками лицо.

«Каскад» был полон. Чудом отыскав  
проход к эстраде, в хаосе из лязга  
и запахов я сгорбленной спине  
сказал: «Альберт» и тронул за рукав;  
и страшная, чудовищная маска  
оборотилась медленно ко мне.

Сплошные струпья. Высохшие и набрякшие. Лишь слипшиеся пряди, нетронутые струпьями, и взгляд принадлежали школьнику, в мои, как я в его, косившему тетради уже двенадцать лет тому назад.

«Как ты здесь оказался в несезон?»  
Сухая кожа, сморщенная в виде коры. Зрочки — как белки из дупла.  
«А сам ты как?» «Я, видишь ли, Язон.  
Язон, застрявший на зиму в Колхиде.  
Моя экзема требует тепла...»

Потом мы вышли. Редкие огни, небес предотвращавшие с бульваром слияние. Квартальный — осетин.  
И даже здесь держащийся в тени мой провожатый, человек с футляром.  
«Ты здесь один?» «Да, думаю, один».

Язон? Навряд ли. Иов, небеса ни в чем не упрекающий, а просто сливающийся с ночью на живот и смерть... Береговая полоса, и острый запах водорослей с Оста, незримой пальмы шорохи — и вот

все вдруг качнулось. И тогда во тьме на миг блеснуло что-то на причале.  
И звук поплыл, вплетаясь в тишину, вдогонку удалявшейся корме.

И я услышал, полную печали,  
«Высокую-высокую луну».